

Герман Гессе

Петер Каменцинд

Hermann Hesse

PETER CAMENZIND

Перевод с немецкого Р. Эйвадиса

Серийное оформление Е. Фerez

Дизайн обложки А. Чаругиной

Печатается с разрешения издательства Suhrkamp Verlag Berlin.

Серия «Эксклюзивная классика»

© Hermann Hesse, 1904

© Перевод. Р. Эйвадис, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *

Фрицу и Алисе Лёйтхольд посвящается

1

Вначале был миф. Бог, в своем стремлении к самовыражению стихословивший некогда в душах индийцев, греков, германцев, и поныне ежедневно и ежечасно наполняет душу каждого ребенка поэзией.

Я не знал еще, как называется озеро, как называются горы и ручьи моей родины. Но я видел лазоревую озерную гладь, вышитую золотом крохотных солнечных зайчиков, и обступившие ее плотным кольцом крутые горы, и сверкающие снежные зубурины на их скалистых боках у самых вершин, и крохотные водопады, а у подножия гор веселые покатые луга, усеянные фруктовыми деревьями, хижинами и серыми альпийскими коровами. И так как бедная, маленькая душа моя, объятая ожиданием, была пуста и безмолвна, озерные и горные духи начертали на ней свои прекрасные, великие деяния. Навеки застывшие гребни и кручи повествовали упрямо и благоговейно о далекой эпохе, их породившей и не поскупившейся для них на суровые отметины-шрамы. Они поведали мне о том, как вздувалось и лопалось измученное чрево земли, со стоном и родовой дрожью выталкивая из недр хребты и вершины. Могучие скалы с ревом и грохотом теснились, опережая друг друга, роняли верхушки, ломались на полпути, и горы-близнецы в жестоких схватках друг с другом боролись за место под солнцем, пока одна не побеждала другую, оттеснив ее в сторону и повергнув ее в прах. С тех времен так и застряли там и сям, повиснув высоко в ущельях, отломанные вершины, отброшенные, расколотые скалы, и в каждую оттепель потоки талой воды низвергали огромные, величиной с дом глыбы и либо разбивали их вдребезги, как стекло, либо вгоняли, как гвозди, в мягкие альпийские луга.

Они всегда говорили одно и то же, эти скалистые горы. И понимать их было нетрудно, глядя на их крутые бока, изломанные, пласт за пластом, помятые, растрескавшиеся, покрытые зияющими ранами. «Мы пережили страшные муки, – говорили они. – И страдания наши еще не кончились». Но они говорили это гордо, с ожесточенным выражением на суровом челе, словно старые воины, живущие в обнимку со смертью.

Да-да, именно воины. Я видел, как они боролись с водой и ветром жуткими предвесенними ночами, когда злобный фён с ревом обрушивался на их древние главы, а бурные потоки вырывали свежие куски мяса из их боков. В такие ночи они стояли с затаенным дыханием, набывшись и упрямо расставив корни, угрюмые, озлобленные, и отражали удар за ударом рогами и растрескавшимися, обветренными боками, собрав воедино все силы. И в ответ на каждую нанесенную рану они издавали глухое, леденящее душу рычание, в котором слышны были страх и ненависть, а ужасным стоном их вторили гневным, надломленным эхом даже самые отдаленные бурливые водопады.

Я видел горные луга и склоны и островки земли в расселинах, пестреющие травами, цветами, мхами и папоротниками, которые древняя народная мудрость наделила диковинными, вещими именами. Дети и внуки гор, они жили своей пестрой, беззлобной жизнью, каждый на своем месте. Я осязал их, любовался ими, вдыхал их ароматы и учился называть их по именам. Сильнее и глубже поражали меня деревья. Каждое из них вело свою особую жизнь, обладало своей особой статью и неповторимой формой кроны, отбрасывало свою, лишь на него похожую тень. Они, эти борцы-отшельники, были сродни горам, ибо все они, в особенности те, что стояли ближе к вершинам, вели свою незаметную, но упорную войну за жизнь и рост – с ветрами, ненастями и скудной каменистой почвой. Каждое из них несло свое бремя, каждое упрямо цеплялось за все, что придется, и от этого у каждого из них был свой собственный образ и свои особые раны. Я видел сосны, которым ветер позволил иметь ветви лишь с одной стороны; другие, подобно змеям, обвили своими красными стволами нависшие над кручами обломки скал, так что дерево и камень стали одно целое и помогали друг другу выстоять. Они смотрели на меня, словно грозные воители, внушая благоговейный страх и уважение.

Мужчины и женщины наши тоже были похожи на них: строгие, темноликие, неразговорчивые, а лучшие из них – и вовсе молчуны. Потому-то я и привык смотреть на людей, как на деревья или скалы, задумываться о них и почитать их не меньше, а любить не больше, чем тихие сосны.

Деревушка наша Нимикон раскинулась на треугольном, зажатом между двумя горными выступами косогоре на берегу озера. Одна дорога ведет в расположенный неподалеку монастырь, другая в соседнюю деревню, до

которой четыре с половиной часа ходу; до остальных деревень можно добраться только по воде. Деревянные дома наши выстроены все в старом стиле, и возраст их не поддается определению: новых среди них почти нет, а старые домишки хозяева по мере нужды подправляют то с одного, то с другого боку, в этом году половицы, в следующем кусок кровли, а то и просто полбревна или планку, что когда-то была частью обшивки в горнице, а теперь пришла на смену какому-нибудь сгнившему стропилу под крышей; а отслужив свой срок и здесь, сгодится на что-нибудь в хлеву или на сеновале, прежде чем пойти на растопку, на худой конец украсит собой входную дверь. То же происходит и с их обитателями: каждый, как может, играет свою роль до конца, а затем медленно, словно нехотя, отступает назад, в круг ни на что не годных зрителей, и вскоре тихо, незаметно погружается в вечную тьму. Те, кто после долгих лет, прожитых на чужбине, возвращаются обратно, находят здесь все таким же, как оно было прежде, разве что пару состарившихся кровель заново перекрыли да пара других, поновее, состарилась; прежних старцев, правда, уж нет, но место их заступили другие старцы, живущие в тех же хижинах, носящие те же имена, пасущие ту же самую темноволосую ребятню и лицом и нравом почти не отличающиеся от почивших в Бозе.

Общине нашей не доставало прилива свежей крови и жизненных токов извне. Жители деревушки, народ хлопотливый и крепкий, почти все состоят друг с другом в родстве, и добрых три четверти из них носят имя Каменцинд. Именем этим исписаны многие страницы церковной книги и кладбищенские кресты, оно красуется на дверях домов, выведенное масляной краской или же грубо вырезанное ножом, на повозках, на ведрах в хлеву и на лодках. Над дверью моего отца тоже было написано: «Дом сей выстроен Йостом Каменциндом и женой его Франциской», однако же имелся в виду не отец мой, а прадед; и если мне суждено будет когда-нибудь умереть, не оставив потомства, то я знаю наверное, что старое гнездо наше не опустеет; другой Каменцинд заживет в нем, если, конечно, оно к тому времени еще пригодно будет для жилья.

Несмотря на кажущееся единообразие, здесь, как и всюду, имелись злые и добрые, знатные и безродные, влиятельные и убогие, а на каждого умного приходилось по паре восхитительных глупцов, не считая дурачков и юродивых. Община наша, как, впрочем, и любая другая, была маленьким, но правдивым слепком с человеческого общества, и так как большие и малые, хитрецы и дурни неразрывно связаны были друг с другом узами

близкого или дальнего родства, то спесивая строгость и дурашливое легкомыслие часто наступали друг другу под одной и той же крышею на пятки, так что в жизни нашей оставалось довольно места и для глубины, и для комизма человеческих отношений. Правда, над всем этим лежал вечный туман тщательно скрываемой или неосознанной подавленности. Зависимость от природных сил и скудость бытия, полного бесконечных трудов и забот, сообщили нашему и без того стареющему роду некоторую склонность к мрачному глубокомыслию, которое, хотя и подходило как нельзя лучше к грубым, словно высеченным из камня лицам, но не приносило никаких плодов, во всяком случае сладких. Потому-то все и рады были тем двум-трем шутам, которые, будучи людьми тихими и даже серьезными, все же привносили немного цвета в серые будни и частенько давали повод для веселья и насмешек. Когда кто-нибудь из них очередной проделкою вызывал новые пересуды и толки, по морщинистым, коричневым лицам неласковых сынов Нимикона пробегали радостные зарницы, а сама забава всегда была сдобрена щепоткой тонкой фарисейской соли – отрадным сознанием собственного превосходства, тайным ликованием, мол, я-то, слава Богу, застрахован от таких дурачеств и ошибок. К этому множеству стоявших как раз посредине между праведниками и грешниками и завидовавших и тем, и другим, принадлежал и мой отец. Всякое вновь затеваемое чудачество напрочь лишало его покоя, переполняя сердце его сладким трепетом, и он буквально разрывался между участливым восхищением зачинщиками и жирным сознанием собственной безупречности.

Одним из общепризнанных шутов был мой дядюшка Конрад, который, однако, по уму ничуть не уступал ни моему отцу, ни другим подвижникам благоразумия. Более того, он был даже хитер и к тому же одержим неуемной жадной творчеством, которой вполне могли бы позавидовать его критики. Но конечно же, ни одному из его предприятий не суждено было увенчаться успехом. То, что он, несмотря на неудачи, не вешал носа и не поддавался праздной тоске, а, напротив, затевал все новые и новые дела, обнаруживая при этом до странности легкое чувство в отношении трагикомизма своих предприятий, было, без сомнения, положительною чертою, которую, однако же, считали нелепой чудаковатостью, позволяющей причислить его к бесплатным скоморохам общины. Отношение отца моего к нему выражалось в постоянной борьбе между восторгом и презрением. Каждый новый проект шурина он встречал с неопишным волнением и любопытством, которые тщетно пытался

скрывать под хитрой маской иронии и насмешек. Когда же дядюшка, устранив, как он полагал, последние препятствия на пути к успеху, важно задирает нос, отец всякий раз не выдерживал и присоединялся к своему гениальному родичу в расчетливой преданности; затем наступал неминуемый час позора, дядюшка равнодушно пожимал плечами, в то время как отец в гневе осыпал его издевками и оскорблениями, после чего месяцами не достаивал его даже взглядом.

Это Конраду наша деревушка обязана была зрелищем первого парусника, и главную роль в этом событии довелось сыграть отцовской лодке. Парус и снасти дядюшка мастерски изготовил по гравюрам из старого календаря, а то, что наш скромный челнок оказался слишком узким для парусника, – в конце концов, не дядюшкина вина. Приготовления длились несколько недель; отец мой сгорал от нетерпения, смелых надежд и страха, да и все остальные жители только и говорили о новой затее Конрада Каменцинда.

Это был для нас знаменательный день, когда лодка наконец ветренным августовским утром отправилась в свое первое плавание. Отец, томимый мрачным предчувствием близящейся катастрофы, отклонил предложение принять в нем участие и, к моему великому огорчению, запретил поездку и мне. Сын булочника Фюсли был единственным спутником творца-мореплавателя. Вся деревня собралась на вымощенной булыжником площадке перед нашим домом и посреди грядок огорода и наблюдала это невиданное зрелище. На озере дул бойкий восточный ветер. Вначале Фюсли пришлось поработать веслами, пока бриз не подхватил лодку и она, гордо раздув парус, не помчалась прочь. Мы проводили ее восторженными взглядами до первого горного выступа, который скрыл ее от наших глаз, и, устыдившись своих ехидных задних мыслей, решили уже было чествовать молодчину Конрада как победителя. Но когда ночью лодка вернулась обратно, паруса на ней уже не было, и моряки наши больше похожи были на утопленников, чем на победителей, а сын булочника сказал сквозь кашель:

– Да, здорово вам не повезло! Еще бы чуть-чуть, и вы бы могли в воскресенье пировать сразу на двух поминках.

Отец потом выстругал две новые планки и заделал пробоину, и с тех пор над голубыми просторами нашего озера уже никогда более не реял ни один парус. Конраду земляки долго еще кричали всякий раз вслед, как только он

куда-нибудь торопился:

– Эй, Конрад, что ж ты не поднимешь парус?

Отец мой с грехом пополам проглотил эту горькую пилюлю и долгое время, встречаясь со своим горемычным шурином, отворачивался в сторону и нарочито громко плевал в знак безграничного презрения. Так продолжалось до тех пор, пока Конрад не явился к нему в один прекрасный день со своим противопожарным проектом кухонной печи, принесшим изобретателю несмываемый позор и море насмешек, а отцу моему целых четыре талера чистого убытку. Горе было тому, кто осмеливался напомнить ему об этой истории выброшенных на ветер четырех талеров! Спустя много времени, когда в дом наш в очередной раз пришла нужда, мать проронила ненароком:

– Какгодились бы сейчас те деньги, так не по-божески промотанные!

Отец побагровел от гнева, но кое-как сдержался и сказал в сердцах:

– Уж лучше бы я их пропил, сразу все в одно воскресенье!

На исходе каждой зимы в деревню врывался фён со своим низким разбойничьим посвистом, который альпийский горец всегда слушает со страхом и трепетом, а на чужбине вспоминает с тоской и иссушающей болью разлуки. Приближение фёна, которому почти всегда предшествуют прохладные встречные ветры, за много часов чувствуют люди и горы, дикие звери и скотина. Его возвещают теплые, низко гудящие струи воздуха. Сине-зеленое озеро мгновенно чернеет и покрывается белым каракулем торопливых пенистых волн. Еще несколько минут назад безмятежно дремавшее, оно вдруг, как штормовое море, начинает злобно биться о берег. Весь ландшафт тем временем, пугливо съежившись, становится виден как на ладони. На вершинах, обычно предающихся мрачным раздумьям в отрешенной дали, теперь можно без труда пересчитать отдельные скалы, а там, где обычно видны лишь коричневые пятна разбросанных по округе деревень, отчетливо проступают крыши, фасады и окна. Все сбивается в кучу, как испуганное стадо: горы, луга, дома. А потом поднимается устрашающий вой ветра, сопровождаемый содроганиями земли. Волны на озере встают на дыбы под ударами ветра и несутся по воздуху седыми клочьями водяной пыли, а вокруг, в

особенности ночью, ни на минуту не смолкает отчаянная битва гор и бури. Вскоре деревни облетают известия о засыпанных ручьях, разрушенных хижинах, разбитых лодках и пропавших без вести мужьях и братьях.

В младенческие годы я боялся фёна и даже ненавидел его. Но позже вместе с отроческим буйством во мне пробудилась любовь к нему, возмутителю, вечно юному, дерзкому драчуну и глашатаю весны. Это были упоительные мгновения, когда он, хмельной от избытка молодых сил и надежд, начинал свой яростный бой, метался со стоном и хохотом среди гор, летел с диким воем по ущельям, пожирал снег и свирепо гнул в три погибели старые жилистые сосны, не обращая внимания на их жалобные вздохи. Постепенно любовь эта становилась осознанней и глубже, и фён превратился для меня в символ пряного, волнующе прекрасного, сказочно богатого юга, неиссякаемого источника, дающего начало все новым и новым потокам любви, тепла и красоты, которые, разбившись о горные хребты, растекаются по равнинам прохладного севера, замедляют свой бег и медленно умирают. Нет ничего более странного и прекрасного, чем болезненно-сладостная альпийская лихорадка, хорошо знакомая горным жителям, в особенности женщинам, когда фён сеет бессонницу и щекочет возбужденные чувства. Это юг, сжигаемый страстью, вновь и вновь бурно бросается на грудь пуритански строгому, аскетическому северу и возвещает заснеженным альпийским лугам о том, что совсем близко, по берегам пурпурных озер французской Швейцарии, уже снова зацвели примулы, нарциссы и миндаль.

Потом, как только фён оттрубит в свой охотничий рог и просохнут последние лавины грязи, наступает самая дивная пора. Желтоватые, пестреющие цветами луга блаженно вытягиваются на крутых склонах, горы поднимают к небу свои сверкающие неземной чистотой снежные вершины и ледники, а озеро, как прежде голубое и теплое, вновь отражает солнце и полет облаков.

Все это вполне достойно того, чтобы стать содержанием целого детства, а то и всей жизни. Ибо все это громко и внятно глаголет на языке Бога, которым никогда не дано было овладеть человеку. Тому, кто внимал ему в детстве, уже никогда не забыть его могучее, сладостное и устрашающее звучание, не освободиться от его колдовской власти. Выросший среди гор человек может годами изучать философию или *historia naturalis* и сколько угодно доказывать, что никакого Господа Бога вовсе и нет, – но стоит ему

только вновь почувствовать дыхание фёна или услышать, как трещит лес под тяжестью снежной лавины, как он тут же вспоминает о Боге и о смерти.

К домику моего отца примыкал обнесенный изгородью крохотный огородец. В нем росли терпкий салат, репа, свекла и капуста, а посреди овощей мать разбила малюсенькую узкую грядку для цветов, на которой бесславно, вопреки всем надеждам, чахли два розовых кустика, куст георгин и горстка резеды. За огородом начиналась еще более крохотная площадка, вымощенная булыжником, которая выходила к озеру. Там, на берегу, стояли две прохудившиеся бочки, несколько досок и длинных колышков, а рядом была привязана наша утлая лодчонка, которую отец раньше каждые два-три года заново латал и смолил. Дни, в которые это происходило, навсегда остались в моей памяти. Это бывало в самом начале лета, обычно после обеда; над огородом порхали желтокрылые лимонницы, греясь в теплых лучах солнца, нежно поблескивало маслянисто-гладкое озеро, голубое и ласковое, мрели в прозрачной дымке вершины гор, а на маленькой площадке крепко пахло смолой и масляной краской. И потом лодка еще долго, до самого конца лета, сохраняла этот терпкий, ядреный аромат. Много лет спустя всякий раз, когда где-нибудь на побережье в ноздри мне ударял своеобразный запах воды, смешанный с ароматом черного душистого варева, перед глазами у меня тотчас же вставала площадка на берегу озера, и я видел отца, в рубахе, с кистью в руке, видел синеватые облачка дыма из его трубки, так уютно, так медленно тающие в мягком, по-летнему ласковом воздухе, видел желтое мерцание мотыльков, робко пробующих свои неокрепшие крылья. В такие дни отец по обыкновению пребывал в непривычном для него безмятежном расположении духа, блаженно насвистывал, то и дело заливаясь трелями, которые у него превосходно получались, а иногда даже, забывшись, выпускал короткий йодлер[1], но тут же смущенно умолкал. Мать в такие дни обычно готовила к ужину что-нибудь вкусное, и делала она это, думается мне теперь, в тайной надежде на то, что Каменцинд в этот вечер не пойдет в трактир. Увы, надежда ее была несбыточна.

Родители мои, хотя и не утруждали себя чрезмерной заботой о духовном и телесном развитии своего чада, но и не препятствовали оному. Мать с утра до вечера хлопотала по хозяйству, а отца моего, пожалуй, ничто на свете не занимало меньше, чем вопросы воспитания. Ему и без меня вполне хватало мороки с несколькими фруктовыми деревьями, с полоской земли,

засаженной картофелем, и заготовкой сена. Однако же примерно раз в две недели, вечером, прежде чем отправиться в трактир, он, не говоря ни слова, брал меня за руку и отводил на сеновал, располагавшийся над хлевом. И там совершался весьма странный карательно-искупительный ритуал: я получал изрядную взбучку, не зная толком, за какие провинности, как, впрочем, не знал этого и сам отец. Это были тихие жертвы у алтаря Немезиды, совершавшиеся без брани с его стороны и без крика с моей, словно безропотная выплата законной дани некоему таинственному божеству. После, по прошествии нескольких лет, я всякий раз, когда при мне говорили о «слепом роке», тут же вспоминал те мрачно-загадочные сцены, и они казались мне самой что ни на есть наглядной иллюстрацией упомянутого понятия. Сам того не подозревая, мой славный родитель следовал скромной педагогике, которой охотно пользуется и жизнь, посылая нам время от времени гром и молнии среди ясного неба и предоставляя нам при этом самим доискиваться до причин наказания и размышлять о том, какими же прегрешениями мы прогневили вышние силы. До подобных размышлений у меня, признаться, дело не доходило никогда или весьма редко; эту выдаваемую небольшими порциями кару я принимал без должного самоиспытания, с равнодушием или тайным упрямством, и радовался в такие вечера, что очередная подать «слепому року» уплачена и следующая экзекуция состоится лишь через две-три недели. Гораздо осознанней я сопротивлялся попыткам моего старика приучить меня к труду. Непостижимая, расточительная природа соединила во мне два противоречивых дара: необычайную телесную силу и столь же необычайную лень. Отец, не жалея сил, старался сделать из меня мало-мальски толкового сына и помощника, я же всеми правдами и неправдами отлынивал от порученных мне работ, а будучи гимназистом, не испытывал ни к одному из античных героев столько сочувствия, сколько к Гераклу, принужденному к тем славным, но тягостным трудам. Пока что, однако, я не знал ничего заманчивее, чем праздно шататься по лугам, среди скал или же вдоль берега.

Горы, озеро, ветер и солнце были моими друзьями, рассказывали мне множество историй, воспитывали меня и были мне долгое время родней и понятнее людей и их судеб. Любимцами же моими, которых я предпочитал и сверкающему озеру, и печальным соснам, и солнечным скалам, были облака.

Назовите-ка мне человека на всем белом свете, который бы лучше знал и

крепче любил облака, чем я! Или покажите мне что-нибудь более прекрасное, чем облака! Это и игра, и отрада, это – благословение, Божий дар, это – гнев и мрак преисподней. Они нежны, мягки и безмятежны, как души новорожденных младенцев, они прекрасны, богаты и щедры, как добрые ангелы, они угрюмы, неотвратимы и беспощадны, как вестники смерти. Они то стелются тонкой серебряной пеленой, то плывут мимо, смеясь и сверкая белыми, позлащенными с краев парусами, то величаво покоятся над землей, расцвеченные желтыми, красными и синеватыми бликами. Они медленно крадутся, черные, как закутанные в плащи убийцы, они несутся сломя голову со свистом и гиканьем, словно бешеные всадники, они в печальной задумчивости неподвижно висят на бледном небосводе, одинокие, словно отшельники. Они принимают формы дивных островов и благословляющих ангелов, они напоминают грозящие десницы, трепещущие паруса или странников-журавлей. Они парят меж небесной твердью и бедной землей, словно прекрасный образ всей совокупной человеческой тоски, причастные и к тому, и к другому, – мечты грешной земли, в которых она прижимает запятнанную душу свою к чистому небу. Они суть вечный символ всех странствий, всех поисков, всех желаний и тоски по отчему дому. И так же, как облака, томимые робостью, бесприютной тоской и упрямством, блуждают между небом и землей, – так же, томимые тою же робостью, тою же бесприютной тоской и тем же упрямством, блуждают души людей между временем и вечностью.

О облака, прекрасные, плывущие вдаль неутомимые странники! Я был несмышленным мечтателем и любил их, любовался на них и не знал, что и сам поплыву таким же облаком по небосводу жизни, всем чужой, странник, парящий между временем и вечностью. С детских лет они были мне верными друзьями, братьями и сестрами. Я и шагу не мог ступить, чтобы не кивнуть им, не поприветствовать их, и они отвечали мне тем же, и мы молча радовались нашему тайному союзу. Я никогда не забывал и то, чем они наполняли мою душу: эти формы, эти краски, эти черты, эти игры, танцы, хороводы и сны, эти их странные небесно-земные истории.

Особенно историю снежной принцессы. Действие ее происходит в горах, в преддверье, когда снизу дуют теплые ветры. Снежная принцесса, спустившись с немыслимых высот со своей небольшой свитой, располагается в одной из просторных ложбин или на широкой горной вершине, чтобы передохнуть. Коварный норд-ост завистливо поглядывает на утомленную принцессу, подкрадывается сзади, жадно облизывая скалы

ледяным языком, и внезапно бросается на нее, захлебываясь от злобного рыка. Он швыряет ей в лицо клочья растрепанных туч, осыпает ее бранью и насмешками, норовит прогнать ее прочь. Некоторое время встревоженная принцесса выжидает, терпеливо сносит его дерзости, а иногда и в самом деле возвращается назад в свою недоступную высь, тихо покачивая головой с насмешливой укоризной. Но иногда она вдруг скликает своих оробевших спутниц, открывает свой ослепительный, царственный лик и отбрасывает от себя злобного карлика холодной рукой. Тот трусливо поджимает хвост, жалобно воет и убегает прочь. А она вновь величественно возлежит на своем ложе, укутавшись бледным туманом, и, когда туман рассеивается, взору предстают сверкающие, одетые в чистые, мягкие снега вершины и впадины. В этой истории было что-то особенно возвышенное, что-то о душе и торжестве красоты, что-то такое, от чего маленькое сердце мое переполнялось восторгом и сладким ощущением пленительной тайны.

Вскоре пришла пора, когда я смог приблизиться к облакам, оказаться в самой их гуще, а на некоторые из них даже посмотреть свысока. Мне исполнилось десять лет от роду, когда я вступил на свою первую вершину, Зеннальпшток, у подножия которого приютилась наша деревушка Нимикон. В тот день мне впервые открылись ужасы и красоты горного мира. Темные глотки ущелий, полные льда и талой воды, бутыльно-зеленые спины ледников, отвратительные морены, а над всем этим – круглый высокий купол небес. Тот, кто десять лет прожил на крохотном клочке земли, стиснутом с двух сторон горами и озером, в окружении высоких вершин, никогда не забудет тот миг, когда над головой у него впервые разверзлась широкая голубая бездна, а перед глазами раскинулся бескрайний горизонт. Еще только поднимаясь вверх, я уже был поражен тем, что все эти скалы и утесы, казавшиеся снизу такими маленькими, на самом деле огромны. И вот, весь во власти мгновения, я со страхом и ликованием увидел эти чудовищные просторы. Вот, оказывается, как сказочно велик этот мир! Наша деревушка, затерянная где-то далеко внизу, была всего лишь маленьким светлым пятнышком. А вершины, которые при взгляде из долины можно было принять за близких соседей, отделяли друг от друга многие часы пути.

И тогда во мне шевельнулось предчувствие, что жизнь пока что одарила меня лишь ленивым прищуром, ни разу не удостоив открытого взора, что где-то за пределами моего крохотного мирка, быть может, рождаются и рушатся горы и происходят другие великие события, весть о которых

никогда даже не коснется легким крылом нашего глухого горного захолюстья. И в то же время во мне что-то задрожало, подобно стрелке компаса, и жадно потянулось к этой великой дали. Лишь теперь мне до конца стали понятны красота и тоска облаков, когда я увидел, по каким бесконечным просторам совершали они свои странствия.

Оба моих взрослых спутника, устроившись отдохнуть на ледяной верхушке, похвалили меня за ловкость и терпение во время подъема и добродушно посмеялись над моей безудержной радостью. Я же, едва оправившись от изумления, испустил торжествующий вопль, словно вырвавшийся на свободу молодой бык, весь дрожа от возбуждения. Это была моя первая, нечленораздельная песнь красоте. Я ожидал услышать в ответ могучее эхо, но крик мой бесследно канул в невозмутимые выси, как слабый птичий пересвист. Смутившись, я пристыженно смолк.

Этот день словно растопил какой-то лед в моей жизни. Ибо с тех пор одно событие опережало другое. Вначале меня стали брать с собой во всякие поездки по горам, даже в самые тяжелые, и я со странным, щемящим сладострастием проникал в великие тайны горного царства. Потом мне доверили пасти деревенских коз. На одном из склонов, куда я гонял своих четвероногих, я облюбовал себе защищенный от ветра уголок, сплошь заросший синей горечавкой и красной камнеломкой. Это было мое самое любимое место на всем белом свете. Деревня оттуда была не видна, да и озеро тоже заслоняли скалы, оставляя лишь узкую блестящую полоску, зато там жарко горели цветы, брызжа в глаза своими смеющимися, сочными красками; синее небо, словно крыша шатра, покоилось на остроконечных белоснежных вершинах, а нежный перезвон козьих колокольцев мелодично вплетался в несмолкающее лopotание недалекого водопада. Я лежал на солнце, без усталости дивясь на плывущие мимо белые облака и напевая вполголоса йодлеры, пока козы, поощряемые бездеятельностью разомлевшего пастыря, не принимались за свои дерзкие проделки и недозволенные игры. Сия феакийская идиллия кончилась после первых же двух-трех недель, едва успев начаться, когда я вместе с отбившейся от стада козой сорвался в глубокую расселину. Коза разбилась насмерть, а моя голова изобиловала шишками и ссадинами; вдобавок ко всему меня нещадно выпороли, из-за чего я удрал из дома, но был, однако, вскоре с причитаниями и увещеваниями возвращен под отчий кров.

Эти первые приключения мои вполне могли бы стать и последними. Я был

бы таким образом избавлен от множества хлопот и глупостей, а книжечка эта осталась бы ненаписанной. Рано или поздно я, вероятно, женился бы на какой-нибудь кузине, а может, лежал бы где-нибудь в горах, вмерзшим в ледник. Что, впрочем, тоже было бы не так уж и плохо. Все, однако, обернулось иначе, и не пристало мне сравнивать былое с небылым.

Отец мой хаживал в ту пору на приработки в Вельсдёрфский монастырь. Как-то раз, прихворнув, он велел мне сходить туда и предупредить монахов о том, что он занемог. Я же вместо этого одолжил у соседа перо и бумагу, написал монахам учтивое письмо, вручил его почтальонше, а сам тайком от всех отправился в горы.

На следующей неделе, воротившись в один прекрасный вечер домой, я застал в горнице патера, дожидавшегося автора изящного послания. Сердце мое тревожно сжалось, но он похвалил меня и стал уговаривать отца определить меня к нему в ученье. Обратились за советом к дядюшке Конраду, как раз только что вышедшему из опалы. Тот, конечно же, не задумываясь, с жаром ухватился за мысль о том, что, поучившись, я поступлю в университет и стану ученым и настоящим господином. Отец в конце концов согласился, и в числе опасных дядюшкиных проектов, вроде парусника, противопожарного устройства печи и множества других подобных причуд, таким образом оказалось и мое будущее.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)